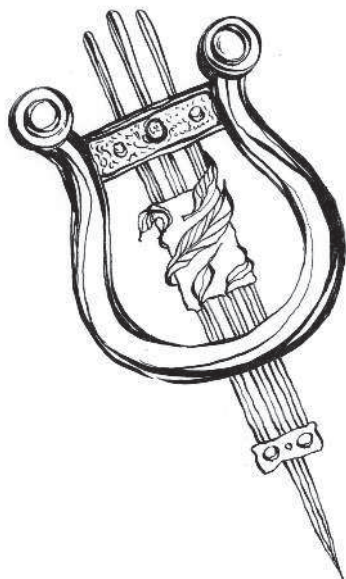


тайная тетрадь



Анна Ахматова

Я живая,
Мне больно



ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
А95

Серийное оформление *Виктории Лебедевой*
Дизайн макета *Яны Паламарчук*
Иллюстрации *Виктории Лебедевой*
Компьютерная верстка *Алексея Филатова*
Составление, комментарии *Т.Ф. Прокопова*

А95 Я живая. Мне больно : сборник / сост., коммент. Т. Ф. Прокопова. — Москва : Издательство АСТ, 2019. — 240 с. — (Тайная тетрадь).

ISBN 978-5-17-116333-4

Книга «Я живая. Мне больно» открывает читателю потаённый мир великой поэтессы Анны Ахматовой. Всю жизнь она вела записи только для себя, но не оставляла мечты когда-нибудь из этих черновых набросков создать мемуары о XX веке и тяжелых испытаниях, которые она прошла вместе с русским народом.

Новая власть, установившаяся в России в 1917-м году, жестоко наказывала деятелей науки и культуры, не отозвавшихся на призывы служить призрачным коммунистическим идеалам всеобщего благоденствия. Инакомыслящие последовательно уничтожались физически или морально.

Дважды она становилась мишенью карательных постановлений ЦК — в 1925 и 1946-м. Ее поэзию называли пустой, безыдейной и чуждой советскому народу. Трагически прерывались попытки создать семью: одного за другим репрессировали ее мужей, дважды в лагерь отправляли сына Льва, все-таки ставшего выдающимся ученым-востоковедом. Но вопреки всему, поэтесса жила и творила, а о ее переживаниях расскажут тексты, собранные в этой книге.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-116333-4

© Т.Ф. Прокопов, составление,
комментарии, 2019
© А. Ахматова, наследники, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019

Коротко о себе

Я родилась 11 (23) июня 1889 года под Одессой (Большой Фонтан). Мой отец¹ был в то время отставной инженер-механик флота. Годовалым ребенком я была перевезена на север — в Царское Село. Там я прожила до шестнадцати лет.

Мои первые воспоминания — царскосельские: зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в «Царскосельскую оду».

Каждое лето я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет — древний Херсонес, около которого мы жили.

Читать я училась по азбуке Льва Толстого. В пять лет, слушая, как учительница занималась со старшими детьми, я тоже начала говорить по-французски.

Первое стихотворение я написала, когда мне было одиннадцать лет. Стихи начались для меня не с Пушкина и Лермонтова, а с Державина («На рождение порфиородного отрока») и Некрасова («Мороз, Красный нос»). Эти вещи знала наизусть моя мама.

Училась я в Царскосельской женской гимназии. Сначала плохо, потом гораздо лучше, но всегда неохотно.

В 1905 году мои родители расстались, и мама с детьми² уехала на юг. Мы целый год прожили в Евпатории, где я дома проходила курс предпоследнего класса гимназии, тосковала по Царскому Селу и писала великое множество беспомощных стихов. Отзвуки револю-

ции Пятого года глухо доходили до отрезанной от мира Евпатории. Последний класс проходила в Киеве, в Фундуклеевской гимназии, которую и окончила в 1907 году.

Я поступила на Юридический факультет Высших женских курсов в Киеве. Пока приходилось изучать историю права и особенно латынь, я была довольна; когда же пошли чисто юридические предметы, я к курсам охладела.

В 1910-м (25 апреля старого стиля) я вышла замуж за Н.С. Гумилева³, и мы поехали на месяц в Париж.

Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя⁴) была еще не совсем закончена (бульвар Raspai). Вернер, друг Эдисона⁵, показал мне в *Taverne de Panthéon* два стола и сказал: «А это ваши социал-демократы, тут — большевики, а там — меньшевики». Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (*jupes-culottes*), то почти пеленали ноги (*jupes-entravées*). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию.

Переехав в Петербург, я училась на Высших историко-литературных курсах Раёва. В это время я уже писала стихи, вошедшие в мою первую книгу.

Когда мне показали корректуру «Кипарисового ларца»⁶ Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете.

В 1910 году явно обозначился кризис символизма и начинающие поэты уже не примыкали к этому течению. Одни шли в футуризм,

другие — в акмеизм. Вместе с моими товарищами по Первому Цеху поэтов — Мандельштамом⁷, Зенкевичем⁸ и Нарбутом⁹ — я сделалась акмеисткой.

Весну 1911 года я провела в Париже, где была свидетельницей первых триумфов русского балета. В 1912 году проехала по Северной Италии (Генуя, Пиза, Флоренция, Болонья, Падуя, Венеция). Впечатление от итальянской живописи и архитектуры было огромно: оно похоже на сновидение, которое помнишь всю жизнь.

В 1912 году вышел мой первый сборник стихов — «Вечер». Напечатано было всего триста экземпляров. Критика отнеслась к нему благосклонно.

1 октября 1912 года родился мой единственный сын Лев¹⁰.

В марте 1914 года вышла вторая книга — «Четки». Жизни ей было отпущено примерно шесть недель. В начале мая петербургский сезон начинал замирать, все понемногу разъезжались. На этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград, из XIX века сразу попали в XX. Все стало иным, начиная с облика города. Казалось, маленькая книга любовной лирики начинающего автора должна была потонуть в мировых событиях. Время распорядилось иначе.

Каждое лето я проводила в бывшей Тверской губернии, в пятнадцати верстах от Бежецка. Это не живописное место: распаханые ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, «воротца», хлеба, хлеба... Там я написала очень многие стихи «Четок» и «Белой стаи». «Белая стая» вышла в сентябре 1917 года.

К этой книге читатели и критика несправедливы. Почему-то считается, что она имела меньше успеха, чем «Четки». Этот сборник появился при еще более грозных обстоятельствах. Транспорт замирал — книгу нельзя было послать даже в Москву, она вся разошлась в Петрограде. Журналы закрывались, газеты тоже. Поэтому, в отличие от «Четок», у «Белой стаи» не было шумной прессы. Голод и разруха росли с каждым днем. Как ни странно, ныне все эти обстоятельства не учитываются.

После Октябрьской революции я работала в библиотеке Агрономического института. В 1921 году вышел сборник моих стихов «Подорожник», в 1922 году — книга «Anno Domini» (*лат.* «В лето Господне»).

Примерно с середины двадцатых годов я начала очень усердно и с большим интересом заниматься архитектурой старого Петербурга и изучением жизни и творчества Пушкина. Результатом моих пушкинских штудий были три работы¹¹ — о «Золотом петушке», об «Адольфе» Бенжамена Констанана и о «Каменном госте». Все они в свое время были напечатаны.

Работы¹² «Александрина», «Пушкин и Невское взморье», «Пушкин в 1828 году», которыми я занималась почти двадцать последних лет, по-видимому, войдут в книгу «Гибель Пушкина».

С середины двадцатых годов мои новые стихи почти перестали печатать, а старые — перепечатывать.

Отечественная война 1941 года застала меня в Ленинграде. В конце сентября, уже во время блокады, я вылетела на самолете в Москву.

До мая 1944 года я жила в Ташкенте, жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте. Как и другие поэты, часто выступала в госпиталях, читала стихи раненым бойцам. В Ташкенте я впервые узнала, что такое в палящий жар древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая доброта: в Ташкенте я много и тяжело болела.

В мае 1944 года я прилетела в весеннюю Москву, уже полную радостных надежд и ожидания близкой победы. В июне вернулась в Ленинград.

Страшный призрак, притворяющийся моим городом, так поразила меня, что я описала эту мою с ним встречу в прозе. Тогда же возникли мои очерки «Три сирени» и «В гостях у смерти» — последнее о чтении стихов на фронте в Териоках. Проза всегда казалась мне и тайной и соблазном. Я с самого начала все знала про стихи — я никогда ничего не знала о прозе. Первый мой опыт все очень хвалили, но я, конечно, не верила. Позвала Зоценку¹³. Он велел кое-что убрать и сказал, что с остальным согласен. Я была рада. Потом, после ареста сына, сожгла вместе со всем архивом.

Меня давно интересовали вопросы художественного перевода. В послевоенные годы я много переводила. Перевожу и сейчас.

В 1962 году я закончила «Поэму без героя», которую писала двадцать два года.

Прошлой зимой, накануне дантовского года, я снова услышала звуки итальянской речи — побывала в Риме и на Сицилии. Весной 1965 года я поехала на родину Шекспира, увидела британское небо

и Атлантику, повидалась со старыми друзьями и познакомилась с новыми, еще раз посетила Париж.

Я не переставала писать стихи. Для меня в них — связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных.

1965 209





Листки

из дневника

Записные

книжки

Листики из дневника

КАК У МЕНЯ НЕ БЫЛО РОМАНА С БЛОКОМ¹

<...> Сажусь в первый попавшийся почтовый поезд. Курю на открытой площадке. Где-то у какой-то пустой платформы паровоз тормозит — бросают мешок с письмами. Перед моим изумленным взором вырастает Блок. Я от неожиданности вскрикиваю: «Ал<ександр> Ал<ександрович>!» Он оглядывается и, так как он вообще был мастер тактичных вопросов, спрашивает: «С кем вы едете?» Я успеваю ответить: «Одна». И едем дальше.

Сегодня, через 51 г., открываю «Записную книжку» Блока, которую мне подарил В.М. Ж<ирмунский>, и под 9 июля 1914 читаю: «Мы с мамой ездили осматривать санаторию за Подсолнечной. — Меня бес дразнит. — Анна Ахматова в почтовом поезде». (Станция называлась Подсолнечная.)

На этом можно бы и кончить, но так как я, кажется, обещала доказать кому-то, что Блок считал меня по меньшей мере ведьмой, напомню, что в его мадригале мне (ц<итата из стихотворения «Красота страшна, — мне скажут...»>), среди черновых набросков находится такая строчка: «Кругом твердят — *вы девчонки*, вы красивы...» (СПб, 1913, дек<абрь>), да и самое предположение, что воспеваемая дама «Не так проста, чтоб простоубивать...», — комплимент весьма сомнительный. Его

запись*: о чтении стихов «на башне» — не привожу, нет книги под рукой, а я на даче (Будка), все разъехались, и вокруг бушует одна осень.

(Отрывок из книги, которая могла бы называться «Как у меня не было романа с Блоком».) <...>

* * *

Существует письмо матери Блока (1914?) к сестре Евг. Иванова⁴, где она сочувственно, если не восхищенно, говорит обо мне и выражает желание, чтобы у ее сына был со мною роман, но, к сожалению, ему такие женщины, как я, не нравятся. Удивительные нравы, когда почтенные дамы подбирают любовниц своим сыновьям, причем их жерт<вами> оказываются замужние женщины и матери двухлетних детей.

(Письмо находится в одном из московск<их> музеев — мне его читали несколько лет тому назад.)

* * *

Суббота

«Зап<исная> кн<ижка>» Блока дарит мелкие подарки, извлекая из бездны забвения и возвращая даты полузабытым событиям: и снова деревянный Исааковский мост, пылая, плывет к устью Невы, а я с Н.В. Н<едоброво> с ужасом глядим на это невиданное зрелище, и у этого дня даже есть дата <...>.

* Кажется (в дневнике): «Читала А<хмато>ва. Стихи все лучше. Она уже волнует меня» или что-то в этом роде. Свой роман с Блоком мне подробно рассказывала Вал<ентина> Андр<еевна> Щеголева². Он звал ее в Испанию, когда муж сидел в Крестах. Были со мной откровенны еще две дамы: О. Судейкина и Нимфа Городецкая³. — Примеч. Ахматовой.

И снова я встречаю в театральной столовой исхудалого Блока с сумасшедшими глазами, и он говорит мне: «Здесь все встречаются, как на том свете...» <...>

А вот мы втроем (Блок, Гум<илев> и я) обедаем на Царско-сельском вокзале в первые дни войны (Гум<илев> уже в форме), Блок в это время ходит по женам мобилизованных для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: «Неужели и его пошлют на фронт. Ведь это то же самое, что жарить соловьев». <...>

...Но последняя встреча за кулисами Больш<ого> драм<атического> театра* в мае (?) 1921 года, когда его фотографировал Напельбаум⁵, не записана. Я была с Замятиным⁶ и еще с кем-то. Шел большой блоковский вечер (с Корн<еем> Чуковск<им>). Он подошел и спросил меня: «А где испанская шаль?». Это последние слова, кот<орые> я слышала от него. У меня никогда не было испанской шали, это он испанизировал меня, потому и выбрана строфа романзего и фигурирует «розан в волосах».

Надеюсь, никто не подумает, что <у меня> в волосах было столь странное украшение.

III-е киевск<ое> стих<отворение> в 1914. М. б., оно и не 14 г., но относится к этим дням:

* *Когда мы шли в театр, кто-то из знакомых на улице крикнул: «На богослужение идете?» — *Примеч. Ахматовой.*

